

В Алтайском крае есть маленькая деревушка Конёво. Полторы улицы: одна улица – длинная, и на задворках – ещё пол-улицы. Вот я – отсюда.

---

\* Название рассказа в редакции журнала «Вертикаль. XXI век».

Мой дед подо Льва Николаевича Толстого всё время косил: огромная белая бородаща. Рубаха навыпуск, с пояском ходил всё время. Бабушка моя, Аннушка, «толстовки» ему шила, как у Льва Николаевича... Дед был сослан в нашу деревню в 27-ом году из Петербурга...

И дед, и бабушка, и мама были глубоко верующими. Всегда перед обедом – молитва, и после обеда – обязательно.

Помню – мне было годика четыре, пятый шёл, – в красном углу висел портрет Сталина, и дедушка всё время молился на этот портрет.

А тут прискакал на лошади почтальон из района: «Мужики! – кричит. – Все в избу-читальню!» И все бегут туда! Какое-то событие случилось, раз почтальон скачет на лошади, да ещё кричит! (Ну, а нас, детей, старались в стороне держать – мало ли какое событие!..) Все – туда, а мы с сестрой Зиной на печке... Вдруг бежит дед... Я смотрю – забегаёт, запыхавшийся, в избу – софа у нас стояла такая в красном углу перед столом обеденным, – он на эту скамью встаёт, снимает портрет Сталина и говорит: «Ну, ирод, дождались!» Хрюсь об колено этот портрет! Я смотрю, а за портретом – Николай Угодник, наша родовая икона! Оказывается, дед молился не на Сталина, а на икону, которую прятал за портретом вождя...

Бабушка учила: «Если тебе люди сделали доброе дело, ты говори: "Спасибо"». А дед – наоборот: «Санька, не "спасибо" говори. Это не обязывающее слово. Говори: "Благодарю"». Он у меня строгий был – офицер царской армии.

Я долго разницы не замечал, потом мне бабушка объяснила. «Спасибо» – это говорили люди, которым оказали очень-очень большую помощь. Они говорили: «Спаси Бог», но букву «Г» недоговаривали от слабости. И в обыденность пришло слово «спасибо». Это – знак благодарности тому, кто спас от гибели. А дед говорил «благодарю». Благо подарить человеку, «благо дарю тебе». А бабушка с ним спорила: «Благо дарю! Какое же ты благо даришь, если тебе благо подарили! А ты говоришь «благодарю», то есть обещаешь благо подарить. А вот «спаси Бог», то есть тебя спаси Бог, то есть ты за него как бы помолился, к Богу обратился». «Спаси тебя Бог», «Спаси тебя Господи». Это я вот с детства знал.

Бабушка меня любила, обожала. Под подушкой от всех прятала для меня конфетки. А спала она на печке и прятала под подушкой конфетки – подушечки, за рубль десять. В сельском магазине-лавке продавались. Вот, она их в бумажку завернёт и под подушку, чтобы старшая сестра Зинка (тоже была сладкоежкой) не отобрала. А на печке жарко, эти конфетки все слипнутся... А она говорит: «Ну, сам возьми, сколько съешь». Я их раздирал, а они тянутся эти тягучки... Это было замечательно.

А потом, когда вырос, уже сладостями не баловали. И дедушка бабушке запрещал: «Анна, прекрати баловать внука...»

Тогда я воровал из-под курицы яички, а яички принимали в сельмаге – 10 копеек, – и мы сдавали... А потом смотрю – трагедия в семье: бабушка плачет, мама тоже плачет – дед головы всем курам отрубил. «Что, – говорит, – их без толку кормить, яичек не несут! Яичек нет – приплода нет! Зачем их кормить!» И всех – на мясо...

В моём классе училась девочка Лида Лысова, которую я полюбил с первого класса. Она мне пирожки в парту на переменке подкладывала. Да... И я вычислил, кто подкладывает. И стал к ней равнодушен.

А в деревне у нас был Ванька Сидоров. Частушки-нескладушки сочинял, матерные, злые. Ой, его вся деревня боялась! Не дай бог попасть в его частушки.

По весне мы собирались на «грудке». Это – за деревней. Грудок – это такая возвышенность, холм. Когда весна наступала, то снег таял на этой вершине раньше всего. Там все ребяташки собирались, вся молодежь, мужики там качели нам сделали.

И в один печальный для меня вечерок собралась вся деревня на этом грудке. Ванька Сидоров говорит: «Частушка-нескладушка! Шурке Панкратову посвящается!». Вся деревня замерла, а я стою, и тут рядыш-

ком Лида Лысова – моя любимая... А учился я, дай Бог памяти, в третьем классе... И вот он читает эту частушку, матерную. «Ты родился под мостом, от тебя куры ... оттого ты не растешь, гнида конопатый». Ну и я схватил какую-то дубину и погнался за ним. А он длиннющий был, ноги длинные, и – убежал. Я заплакал, потому что вся деревня хохотала. Потом пришёл домой, сел за стол, собрал весь деревенский фольклор (сплошной мат-перемат) и сочинил частушки про него. На следующий вечерок прихожу и говорю: «Стих! Ваньке Сидорову посвящается!» Ваня настояжился, вся деревня – ха-ха-ха! хе-хе-хи! «Ну-ка, Шурка, читай». Ну, я как прочитал, то тут он уже меня гонял по всей деревне дубиной. Еле убежал. Да! Стихи рождаются болью сердечной, в этом я уверен...

А на второй день дед меня вождями выпорол как сидорову козу, потому что деду доложили, что внук матерные стишки читал.

Мама очень хотела отправить меня в военное училище...

После семилетки, как говорится, не было печали, да вот чайки накачали: вдруг дядя Терентий заболел. Она его поехала навестить, в Казахстан, и деньги нам с сестрой оставила. Сестра говорит мне: «Санька, беги в артисты, пока мамы нет дома». Да...

Почему в артисты. Потому что вычитал в справочнике сельского кинемеханика, что кино делают режиссёры, но в основном – артисты. Поэтому – думаю – надо сначала артистом стать. Причём для меня стать артистом – это ну как научиться стать токарем, или как слесарем. Это нужно прийти куда надо и сказать: «Хочу пойти в артисты». Я и не думал, что надо творческий экзамен сдавать там, и прочее...

Вот приехал я в город Горький. Из Сибири, с разговором с алтайским – скороговорочка такая... А то, что программу какую-то надо готовить и читать что-то, я не знал. Но в деревне я был лучшим говоруном, начитанный был мальчик. Пушкина очень любил, и люблю по сей день. Ну, и я стал читать из школьной программы: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя; то, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя»...

Людмила Александровна Булюбаш – старейший преподаватель по сценречи, говорит: «Боже мой! Боже мой! Убожество какое! Никакого внимания к тексту! К великому Пушкину!» Я говорю: «Почему невнимание-то?» Она: «Ведь Пушкин – это же великий поэт! Вслушайся, мальчик: "Буурря мглою небо кроет..." – сколько "о", а сколько "б" – "Буря мглою небо..." – это же набат церковный, колокольный звон тревожный! Ведь не метель мягкая, а "БУУРРЯ"! Ещё "р" – рычащий зверь, а не метель! Буря! А ты: "Буря мглою небо кроет..."». Я говорю: «Ну, для вас, городских – так. А у нас – Сибири! "Буря мглою небо кроет..." – каждодневное событие, что там удивляться...»

Потом я узнал, что и Евстигнеева Людмила Александровна забракела. Она говорила: «Из учеников у меня – два хулигана: Шура Панкратов и Женя Евстигнеев». Я спрашивал: «Людмила Александровна, а Евгений Александрович Вам чем не угодил?» – «А он читал то же самое: "Буря мглою небо..."». А я говорю: «Ну, а он тоже не ценил Пушкина?» – «Нет, он плевался!» Я спрашиваю: «Как?»... А Евстигнеев, оказывается, читал: «Буря (презрительно сплёвывает) мглою небо (сплёвывает) кроет, вихри снежные (сплёвывает) крутя; то, как зверь, она (сплёвывает) завоет, то заплачет, как (сплёвывает) дитя...»

Потом, когда мы дружили уже с Евгением Александровичем, он мне рассказал, почему так читал. Он хохотал и говорил: «Сань, я хотел выразить своё отношение к этой буре, что я её ненавижу, эту бурю...»

Булюбаш меня забракела – Пушкина я не уважаю...

Я недобирал баллов до проходного... И вот я стою в коридоре этого театрального училища, плачу...

Тогда училище находилось на улице Краснофлотской, сейчас она Почайнка (улица переименована), в храме\*. В подвале храма. Сводчатые

\* Училище в то время располагалось в храме в честь святых Жён-Мироносиц на улице Добролюбова, неподалёку от улицы Краснофлотской (сейчас – Ильинская).

потолки... А там наверху, над нами, было какое-то текстильное училище...

И идёт Георгий Аполлинарьевич Яворовский. Он был первым директором...

...Читая первокурсникам первую лекцию, он всегда начинал с Белинского, с цитаты: «Любите ли вы театр? О, это истинный храм искусства! И, когда он произносил эти слова, я, помню, поднял глаза, а на сводчатом потолке сквозь известь, вижу, проглядывают лики Святых. Думаю – вот он, Храм Искусства!.. Я был уверен, что по всей России все театральные училища находятся в церквях, в храмах! Да, в храмах! Было такое впечатление...

Вот Яворовский – директор тогдашний – подходит и говорит: «Прелестное дитя, чего так слёз много?» А я плачу! Обидно, что не поступил! Но больше всего плачу – как я маме буду в глаза смотреть, ведь деньги потратил, и не поступил!.. Я поднимаю голову, смотрю: высокий, седой, красивый старик, в старомодном сером в полоску двубортном костюме. А я не знал, кто он такой. Говорю: «Понимаешь, папаша, сидит какая-то мымра и говорит, что я Пушкина не уважаю! По-русски говорить правильно не умею! А я в деревне-то лучший говорун был». Он мне: «Ну-ка, говорун, зайди-ка ко мне». Заводит меня в кабинет, выслушивает, и вызывает Людмилу Александровну. Говорит ей: «Я вас увольняю, вы лентяйка». – «Почему это я – лентяйка?» – «Вот мальчик из глубинки приехал, с каким-то диалектом, с каким-то говором! Вы от него хотите освободиться, значит, не желаете работать». Она на него такие глаза и говорит: «Ну ладно, Георгий Аполлинарьевич, возьму я этого дурачка»... Она мне троечку поставила. И меня приняли. И я поступил в театральное училище, в котором учился Евстигнеев и Хитяева Люся\*.

*Записала М. К. Каддо*